

ИСТОРИОПИСАНИЕ «ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ»: НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРИЧИНАХ НЕДОВЕРИЯ К МЕТАНАРРАТИВАМ И МАКРОИСТОРИИ

Статья посвящена анализу некоторых ключевых проблем современного историописания, таких как возможность адекватной репрезентации реальности и способность историка (посредством нарратива) наделять смыслом факты и события прошлого. Обсуждение этих проблем само по себе не ново, однако в XX столетии все они были поставлены с особой силой. Известный американский историк Х. Уайт призывает нас принять во внимание тот факт, что после Холокоста (и, в целом, после двух мировых войн) любой метанарратив оказывается фактически невозможен, потому что случившееся не поддается объяснению привычными для историка способами. В статье делается вывод о том, что «постмодернизм» в истории не всегда аморален, как пытаются доказать некоторые его оппоненты. Напротив, он вынуждает нас обратить внимание на проблемы, которые требуют от историка повышенной моральной сознательности, когда он приступает к исследованию и написанию истории великих катастроф XX в.

В 1995 г. на страницах *Журнала Современной Истории* (Лондон) состоялась весьма примечательная дискуссия: известный британский историк Артур Марвик в резко полемичной форме выступил в защиту истории от так называемых «постмодернистов», к которым отнес многих именитых представителей самых различных областей знания, в том числе известного американского историка Хайдена Уайта. Поскольку сам А. Марвик выступал от лица «нормальных» историков [1. С. 6], большинство нападок досталось именно Уайту, в результате чего почувствовали необходимость выступить в его защиту даже те, кто в целом довольно критично настроен по отношению к его взглядам на историописание и историю как дисциплину. Так было положено начало весьма примечательной полемике, где, с одной стороны, были представлены крайне своеобразные взгляды на постмодернизм, а с другой – разные точки зрения в его оправдание.

Стоит, однако, сразу оговорить, что в данной статье применительно к нынешней ситуации в историописании намеренно употребляется термин «постсовременность» вместо более привычного «постмодернизм» в силу того обстоятельства, что последний приобрел к настоящему времени целый шлейф негативных значений, во многом по причине того, что этим термином стали обозначать все что угодно, часто не вдаваясь ни в его содержание, ни в анализ феноменов, реально вызвавших его к жизни. Яркий пример тому – приводимая ниже позиция А. Марвика, объединившего под одним ярлыком людей, высказывающих порой диаметрально противоположные позиции.

Статья Марвика начинается с признания в озабоченности тем, что из-за постмодернистских *безответственных заявлений* об истории студенты-историки *могут оказаться убежденными*, что история историков – это ложь, всего лишь идеология, «наши рассказы», которые могут быть заменены историей, оформленной в соответствии с нуждами современных радикальных политиков» (курсив мой. – М.М.) [1. С. 5].

Высказанное таким образом опасение за «молодежь» весьма примечательно: трудно не согласиться с мыслью, что когда кто-либо начинает беспокоиться об опасности испортить молодежь, это всегда верный знак, что объект критики больно задел некий важный коллективный нерв [2. С. 37]. Что же сфокусировано в этом нерве, если реакция Марвика оказалась столь эмоциональной? Представляется, это один из серьезных вопросов, на который можно было бы попытаться ответить, проанализировав основ-

ные обвинения А. Марвика (с обязательной оговоркой, что такая попытка, конечно же, субъективна и условна).

Итак, первое обвинение уже высказано: такие как Уайт (и «постмодернисты» вообще, к которым последний безапелляционно причислен) своими «безответственными заявлениями» негативно влияют на умственно неокрепшую молодежь – в первую очередь на тех студентов, которые занимаются литературными или культурными штудиями. Какая же реальная угроза кроется за этой подрывной деятельностью постмодернистов? Иными словами, каких последствий опасается А. Марвик? Вероятно, ключевой момент этой критики можно расценить как страх за будущее профессиональных сообществ, которые в привычном виде должны быть четко оформлены и зафиксированы границами конкретных дисциплин.

История – одна из них. Как можно прочесть через несколько страниц, «история – это человеческая деятельность, осуществляемая *организованным корпусом* подверженных ошибкам человеческих существ, действующих, однако, в соответствии со *строгими методами и принципами*, способных осуществлять выбор языка, который они используют (как, например, между точным и неточным), и известными как историки» (курсив мой. – М.М.) [1. С. 12]. Так, страх за вполне реальную возможность утраты этим сообществом авторитета, а следовательно, определенного типа *власти*, находится в тесной связи со страхом за разрушение иерархии как таковой, вполне сложившейся и устраивающей всех, кто обрел в ней вполне определенное место, – иерархии, включенной в устоявшуюся макроструктуру, ассоциируемую во многом с политической стабильностью Европы. «Наука вообще» занимает в этой иерархии далеко не последнее место.

Таким образом, главной задачей статьи Марвик определил необходимость показать контраст между тем, что делают историки по заявлениям постмодернистов («сделанным с целью *оскорбить историков*») (курсив мой. – М.М.), и тем, что историки делают в действительности [1. С. 6].

Что же, по убеждению Марвика, делают историки?

1. Историки пишут честные и недвусмысленные истории, умело избегая всех соблазнов и ловушек языка, потому что они «осознали амбивалентность языка задолго до того, как о структурализме было лишь услышано» [1. С. 6] («Если возможно сотворить двойственность, – пишет Марвик, – точно также можно <...> двойственности и избежать. Только так сознавая соблазны и ловушки языка, *серьезные*

историки стараются быть настолько точными, насколько это возможно» (курсив мой. – М.М.) [1. С. 8].

2. Вдумчиво читают работы друг друга, сурово критикуют их, и это является гарантом против искажений в них прошлого [1. С. 7].

3. Наконец, отбросив «простые спекуляции» о прошлом, долго и скрупулезно изучают его следы, т.е. первичные источники, давая таким образом жизнь знанию о прошлом, *поступая при этом так же, как исследователи природного мира*. В результате истории, написанные таким образом, «воскрешают само прошлое», поскольку история – это не только знание о прошлом, но и *само человеческое прошлое, как оно известно из работ историков* (курсив мой. – М.М.) [1. С. 12–13]. Не комментируя классический позитивистский пассаж о тождественности естественных и гуманитарных наук, стоит обратить внимание на последнее утверждение: с этим последним тезисом трудно не согласиться именно потому, что «само человеческое прошлое», которое мы называем историей, известно не иначе как *только из работ историков*. То, сколь важной эта проблема представляется Хайдуну Уайту, будет рассмотрено ниже. Здесь лишь отмечу, что парадоксальным образом все острые дискуссии (под знаком которых прошли конец XIX и весь XX в.) о специфике гуманитарных и естественных наук будто бы прошли мимо А. Марвика, поскольку из приведенных заявлений очевидно, что различие двух смыслов слова «история» (*historia res gestae* и *historia rerum gestarum*) для него не представляется проблемой.

Однако далее все оказывается еще серьезнее. Инициатор полемики убежден, что любой «постмодернист» обязательно имеет определенную политическую программу, преисполненную экстремизма: «...подобно большинству великих метафизических “историков”, постмодернисты имеют политическую программу (прославление Германского национального государства или диктатуры пролетариата – вчера; фундаментальный радикализм и ниспровержение буржуазно-гуманистического порядка – сегодня)» [1. С. 18]. Осмелюсь предположить, что это фактически самое глубокое опасение Марвика: страх успеха «постмодернистов» оказывается прочно связан с их якобы неизбежной и нерушимой политической левизной, а их радикализм видится реальной угрозой существующему либеральному порядку как основному завоеванию европейской цивилизации, крушение которого равноценно крушению всего мира. Именно поэтому, видимо, осознав себя в качестве защитника либеральных ценностей западной традиции, Артур Марвик решил приложить все усилия, чтобы развенчать подлинные намерения идеологов постмодернизма.

Высказав это, Марвик на нескольких страницах походя наградил «комплиментами» Лакана, Барта, Фуко, Леви-Стросса, Соссюра (обличив двух последних еще и в недостатке образованности) и многих других [1. С. 14–17] и, наконец, добрался до Уайта. Однако прежде чем мы обратимся к непосредственным инвективам в адрес последнего, стоит вспомнить: что объединяет все перечисленные здесь имена? Не вдаваясь в детали, отмечу главное – все названные люди в разное время и с разных позиций проблематизировали сам научный язык и, что важно, язык вообще, рассматривая его не только как сред-

ство передачи информации и обмена сообщениями, но одновременно как мощный инструмент власти и подавления. Многие из них находились определенное время под влиянием идей марксизма, что специально отмечено Марвиком как лишнее доказательство безусловной политической левизны оппонентов. Вот те основные опасения, которые, осмелюсь предположить, подвигли А. Марвика взяться за перо.

Х. Уайт главным образом оказался обвинен в том, что заявил о гораздо большей реальной власти текста и механизмов его построения над историком, нежели это признавалось традиционно, тем самым серьезно поставив под вопрос возможность полного контроля последнего над собственным текстом.

В поисках контраргументов, анализируя процесс создания исторического труда, Марвик представил детали взаимодействия историка с первичными и вторичными источниками, безусловно, признавая частую непроницаемость последних [1. С. 20–21]. Однако, по его твердому убеждению, техническое мастерство историка состоит как раз в рассортировывании источников. При этом Марвик, очевидно, игнорирует то обстоятельство, что сам процесс *рассортировывания* материала и есть начало его интерпретации. Но что может быть проще, чем (не желая анализировать факты какого бы то ни было языкового давления) сказать: «нет никакой власти над историком, кроме его собственной совести и внимательности к материалу...», какое реальное преимущество это дает историку?

Получается, что вопрос о власти и с той и с другой стороны неустраним. Но о каком типе власти говорят Марвик и его оппоненты – это особая тема.

Когда Х. Уайт утверждает, что над историком довлеет язык, укорененный в обыденном языке того сообщества, той культуры, внутри которой находится любой пишущий (историк в том числе), он говорит в первую очередь о механизмах, известных еще со времен расцвета риторики. Речь идет о тропах, в соответствии с которыми так или иначе оформляется любой модус повествования (а с тем, что повествовательный, нарративный, элемент неустраним из исторического исследования, не спорит даже Марвик).

Свидетельствуя об этом (наиболее известная работа Х. Уайта посвящена исследованию этого влияния на примере работ крупнейших историков и философов XIX в. [3]), Уайт пытается обратить внимание на то, что у историка, тем не менее, есть шансы избежать крайностей такого давления. Наиболее впечатляющие сочинения, утверждает Уайт, написаны как раз теми, кто уловил бреши в «экране языка» и таким образом смог прорваться за пределы его безраздельного господства. Так, правомерно сделать вывод, что внимание Уайта к языковым механизмам не означает простого признания новой формы власти – в данном случае власти тропов (а если гипертрофировать эту идею, то и сконцентрированной в них реальности) – некой новой химеры – над историком. Уайт равно пытается показать опасность насилия как с одной, так и с другой стороны. Но реальность прошлого – и на этом делается основной акцент – всегда более уязвима уже по самому факту своего отсутствия (а стало быть, неспособности к сопротивлению). Абсолютно неслучаен поэтому уайтовский интерес к «истории побежденных»

и к истории таких событий, от описания которых отказываются даже «нормальные» историки [2. С. 20–21]. Именно поэтому поиск того «встречного движения», которое могло бы быть идеалом отношений историка и прошлой реальности, вынуждает его, в конце концов, обратиться к определенным художественным техникам репрезентации прошлых событий, которые подчас оказываются гораздо более «реалистичными» и впечатляющими.

Будучи вынужденным вступить в полемику с Марвиком (и в который раз выступая в качестве собственного адвоката), Уайт больше сосредоточился на теоретических вопросах – таких, как соотношение события и факта, конструируемость фактов в самом процессе их установления как фактов, принципиальной несводимости определенного «множества фактов» к тому, «как оно в действительности было» [4. С. 239–240]. В целом же в последнее время вся работа Уайта волей-неволей оказалась сосредоточена вокруг ключевых проблем языка как некоего самоценного универсума, анализ которого может показать нам, как пишется история и почему одни тексты кажутся нам правдивыми и объективными, а другие – нет. Более того, почему одни тексты оказывают столь мощное воздействие на читателя, тогда как другие оставляют нас равнодушными, ничего не прибавляя к нашему знанию и *пониманию* той реальности, о которой, собственно, и повествуют.

Однако здесь стоит, наконец, вспомнить причины возникновения ныне уже многим набившего оскомину термина и обоснование его ввода в употребление. Термин «постсовременность» (postmodernism) применительно к особой эпохе, наступившей после Второй мировой войны, был предложен Ж.Ф. Лиотаром [5. С. 259]. Он возник во многом опять же в контексте проблем власти, а точнее – соотношения, взаимосвязи власти и нарратива как одного из ее ключевых феноменов. С точки зрения Лиотара, вся предшествующая эпоха прошла под знаком метанарратива (классический пример – философия духа Гегеля), то есть того типа дискурса, основной эффект которого состоит в объяснении окружающей действительности и ее обосновании как единственно возможной и верной (законной).

Эту веру в метанарратив (его золотую эпоху) «взорвали» чудовищные события первой трети XX в. По Лиотару, «проект современности не был “забыт” – он был уничтожен: для обозначения этого события Лиотар воспользовался словом-символом “Освенцим”. После Освенцима никакая вера в метанарративы уже невозможна: постсовременность открывается этим чудовищным преступлением. Но это не означает, что все без исключения нарративы утрачивают доверие: множество разнообразных микронарративов продолжают плести ткань повседневной жизни. Они избегают “кризиса делегитимации” – но как раз потому, что не обладают никакой легитимирующей силой» [6. С. 304].

Если все же вернуться к сообществу историков, то внутри него эта проблема была наиболее радикально поставлена именно Х. Уайтом. Его позицию вкратце можно представить следующим образом: история XX в., утверждает Уайт в ряде работ последнего времени, кардинально отлична от всей предшествующей истории. Тот травматический опыт, который повлекли за собой ни с

чем не сравнимые события теперь уже ушедшего века, не укладывается ни в одну привычную форму репрезентации, традиционно используемую историками для сообщения о событиях прошлого. Любая попытка представить их в форме традиционного нарратива всегда будет означать «убийство» реальности, ее «одомашнивание», особо недопустимое в тех случаях, когда речь заходит о таких *неправдоподобных* событиях, как Холокост. Эти события, настаивает Уайт, «не только не могли случиться до XX столетия, но саму их природу и размах ни один из предшествующих веков не мог даже помыслить» [2. С. 20].

И вот здесь вопрос о смысле встает особым образом. Разве можно обнаружить некий объективный *смысл* событий, перечисленных выше? Или, еще более определенно: может ли историк сделать эти события *понятными* для читателя? Либо нам следует вовсе отказаться от их репрезентации (тем более что существуют очень весомые аргументации сторонников такого отказа)? Х. Уайт уверен, что тенденция отказа от репрезентации катастроф XX в. сама по себе есть не меньшая – трагическая – ошибка, чем их традиционная нарративизация. Проблемы, поднимаемые этими событиями, носят, конечно, не методологический характер. И речь не об установлении самих фактов случившегося, но о *репрезентации* как таковой: «репрезентации фактически установленных событий таким образом, чтобы сделать их правдоподобными для читателей, которые имеют не больший их опыт, чем сам историк».

В итоге Уайт снова ставит вопрос о стиле, то есть в данном случае о той технике письма, которую мы можем обнаружить в модернистском романе и которую Уайту кажется очевидным и необходимым в полной мере задействовать в написании истории этих событий. Но почему именно модернизм? В сочинениях такого рода, как и во всяком вообще поэтическом высказывании, утверждает Уайт, «реальность» не столько представлена, сколько явствует или «преподнесена» в тексте и как текст.

Не то чтобы «реальность» «сводится» к сочинению или тексту. Скорее, реальность понята таким образом, что вбирает в себя строящий ее язык и *предстает собой* в результате написания. Это все что угодно, только не «лингвистический детерминизм». Напротив, это лишь признание того факта, что язык, использованный для представления реальности, принадлежит той самой реальности, о которой говорит [7. С. 161]. В первую очередь здесь подразумевается определенная техника письма, введенная модернизмом и известная как *внутренний монолог*, уничтожающий все явные границы между субъектом и объектом.

Только таким образом, убежден Уайт, можно избежать крайностей как полного отказа от репрезентации названных событий, так и обычной нарративизации, которая в гораздо большей степени разрушает историческую действительность, чем попытка использования пусть *литературной* техники, но позволяющей этим событиям все же быть написанными.

В поздних работах Уайта настойчиво, хотя и не всегда прямо, высказывается мысль о том, что макроистории, в принятом смысле слова, после XX в., похоже, больше не существует (термин «макроистория» означает здесь попытку постижения историком исторической целостно-

сти). Вместо нее может быть только множество микро-историй, каждая из которых будет лишь более или менее приближенной попыткой постижения травмирующего опыта прошлого.

Однако причины, по которым возможность макроистории ставится под сомнение Уайтом и такими известными историками, как, например, К. Гинзбург, Д. Лакапра и др., различны. Если последние никогда не акцентируют *качественного* различия между историей XX в. и предшествующих ему, то для Уайта это отличие более чем очевидно. Как утверждает в одной из его концептуально важных работ, «фашизм в своем нацистском воплощении и особенно в таких своих аспектах, как политика геноцида, представляет собой ключевую, контрольную точку для установления тех способов, которыми любая гуманитарная или социальная наука может интерпретировать свою “социальную ответственность” как дисциплины, продуцирующей определенный тип знания» [8. С. 76].

Прошрое, как *связная последовательность событий*, в событиях «модернистских» отменило, уничтожило само себя, и любые интеллектуальные конструкции современных историков есть не что иное, как попытка придать смысл тому, что на самом деле смысла не имеет. В этом Уайт отчасти солидарен с теми, кто полагает, что «мир Аушвица лежит по ту сторону речи, как и по ту сторону разума». Но только отчасти. Ибо хотя он и убежден, что эти события невозможно вписать в упорядоченную, *последовательную* историю, иными словами в любую макроисторию, тем не менее Уайт уверен, они *должны быть написаны*, как отдельные, возможно, бессмысленные, *не связанные ни с какой человеческой логикой* события, несомненно, имевшие место в том прошлом, установление смыслов которого в значительной степени определяет наше будущее.

Здесь-то Уайт и обращается к модернистской технике письма, которая подчеркнуто снимает проблему исторической объективности в ее традиционном понимании. А именно: Уайт полагает, что «рассмотрение проблемы исторической объективности в терминах оппозиции “реальных” событий “воображаемым”, на которой, в свою очередь, основана оппозиция “факта” и “вымысла”, затемняет важный момент развития западной культуры, который состоит в отличии модернизма в искусстве от всех бывших прежде форм реализма. Безусловно, кажется одновременно трудным представить как трактовку

исторической реальности, которая не использовала бы образных техник в репрезентации событий, так и модернистское произведение (fiction), которое каким-либо образом или на некоем уровне не предлагало бы суждений о природе и смысле истории» [2. С. 21].

Таким образом, риску предположить, что Уайт, по сути, призывает историков к *выражению* своего *отношения* к этим (и подобным) событиям посредством экспликации этого отношения в тексте. Иными словами, это те события, в отношении которых бесстрастность (к которой столь долго стремилась история в ходе своего оформления как дисциплины) равнозначна их эстетизации, или выхолащиванию. То есть *буквально* повторному Холокосту в отношении той реальности, которая однажды уже была уничтожена самым жестоким образом и которая теперь «слишком быстро исчезает из живой памяти и уходит в историю...».

Живая память (а ведь, как представляется, историческая память не хочет быть иной) не может быть бесстрастной. Видимо, только таким образом возможна интеграция некоего морально ответственного смысла в культуре или том сообществе, в котором эти события были, и от фактичности которых уйти не дано, если только не породить новых, еще более тяжелых мифов, об опасности которых так много говорится в последнее время. И здесь есть над чем задуматься, ведь, как вопрошает Ф. Анкерсмит, «разве не историческая дисциплина, рассматриваемая в целом, есть *внутренний монолог* современной западной цивилизации о прошлом, из которого она выросла? Разве наша цивилизация не “пишет себя” посредством историописания, <...> разве история и историописание не то место, где наша цивилизация осознает себя и собственную природу и, <...> где она достигает и осознает свою идентичность? И, таким образом, разве историческая дисциплина, взятая в целом, не модернистский текст, в терминах которого *мы выражаем свое отношение к нашему прошлому?*» (курсив мой. – М.М.) [С. 191–192].

С учетом всего сказанного кажется более чем странным, что в адрес Уайта порой до сих пор раздаются упреки в релятивизме, а порой и в безнравственности интерпретации работы историка. Остается лишь надеяться, что со временем историки действительно начнут более внимательно и вдумчиво читать работы друг друга, то есть так, как, по убеждению А. Марвика, это происходит на самом деле.

ЛИТЕРАТУРА

1. Marwick A. Two Approaches to Historical Study: The Metaphysical (Including 'Postmodernism') and the Historical // Journal of Contemporary History (London). 1995. Vol. 30.
2. White H. The Modernist Event // The Persistence of History: Cinema, Television and the Modern Event. NY, 1996. P. 17–38.
3. White H. Metahistory. The Historical Imagination In Nineteenth-Century Europe. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1973.
4. White H. Response to Arthur Marwick // Journal of Contemporary History. 1995. Vol. 30. P. 233–245.
5. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. М.: Интрада-ИНИОН, 1996. 320 с.
6. Гараджа А. Предисловие к публикации статьи Ж.Ф. Лиотара «Ответ на вопрос: что такое постмодерн?» // Ad Marginem '93. М.: Ad Marginem, 1994. С. 303–323.
7. Уайт Х. Ответ Иггерсу // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 2001. С. 155–162.
8. White H. The Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation // The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, 1987. P. 58–82.
9. Ankersmit F.R. Hayden White's appeal to the historians // History and Theory. 1998. Vol. 37, № 2.

Статья представлена кафедрой истории древнего мира, средних веков и методологии истории исторического факультета Томского государственного университета, поступила в научную редакцию «История» 26 декабря 2003 г.